

# И.В. ГЕССЕН

В ДВУХ ВЕКАХ

ЖИЗНЕННЫЙ ОТЧЕТ РОССИЙСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ,  
ЧЛЕНА II ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Иосиф Гессен

**В двух веках. Жизненный отчет  
российского государственного  
и политического деятеля, члена  
Второй Государственной думы**

«Центрполиграф»

1937

УДК 93-94

ББК 63.3(2Рос-Рус)535+63.3 (2Рос-Рус)6

## **Гессен И. В.**

В двух веках. Жизненный отчет российского государственного и политического деятеля, члена Второй Государственной думы / И. В. Гессен — «Центрполиграф», 1937

ISBN 978-5-227-09863-4

Иосиф Владимирович Гессен – политик, издатель, журналист, юрист, человек известный в обществе начала XX века, отличался разнообразными интересами – был членом ЦК Конституционно-демократической партии, ответственным сотрудником министерства юстиции, депутатом Второй Государственной думы, главным редактором оппозиционной газеты «Речь», рупора кадетов, и либерального журнала «Право», побывал в ссылке на Севере России, послужил в судебных органах в провинции. Он по-приятельски общался с министрами, революционерами, крупными политиками, знаменитыми писателями, художниками, актерами... А в эмиграции подготовил и выпустил многотомный «Архив русской революции», сохраняя для потомков свидетельства и документы. Переломные события российской истории не просто разворачивались у него перед глазами, он был их участником. И когда И. В. Гессен решил написать воспоминания, подводя итоги своей жизни, ему было о чем рассказать. Вот только оценить то фиаско, которое потерпела его партия в 1917 году, он так и не смог. Впрочем, честный рассказ о прошлом сам дает ответ на вопрос, почему кадеты были «выброшены с корабля истории». В формате PDF А4 сохранён издательский дизайн.

УДК 93-94

ББК 63.3(2Рос-Рус)535+63.3 (2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-227-09863-4

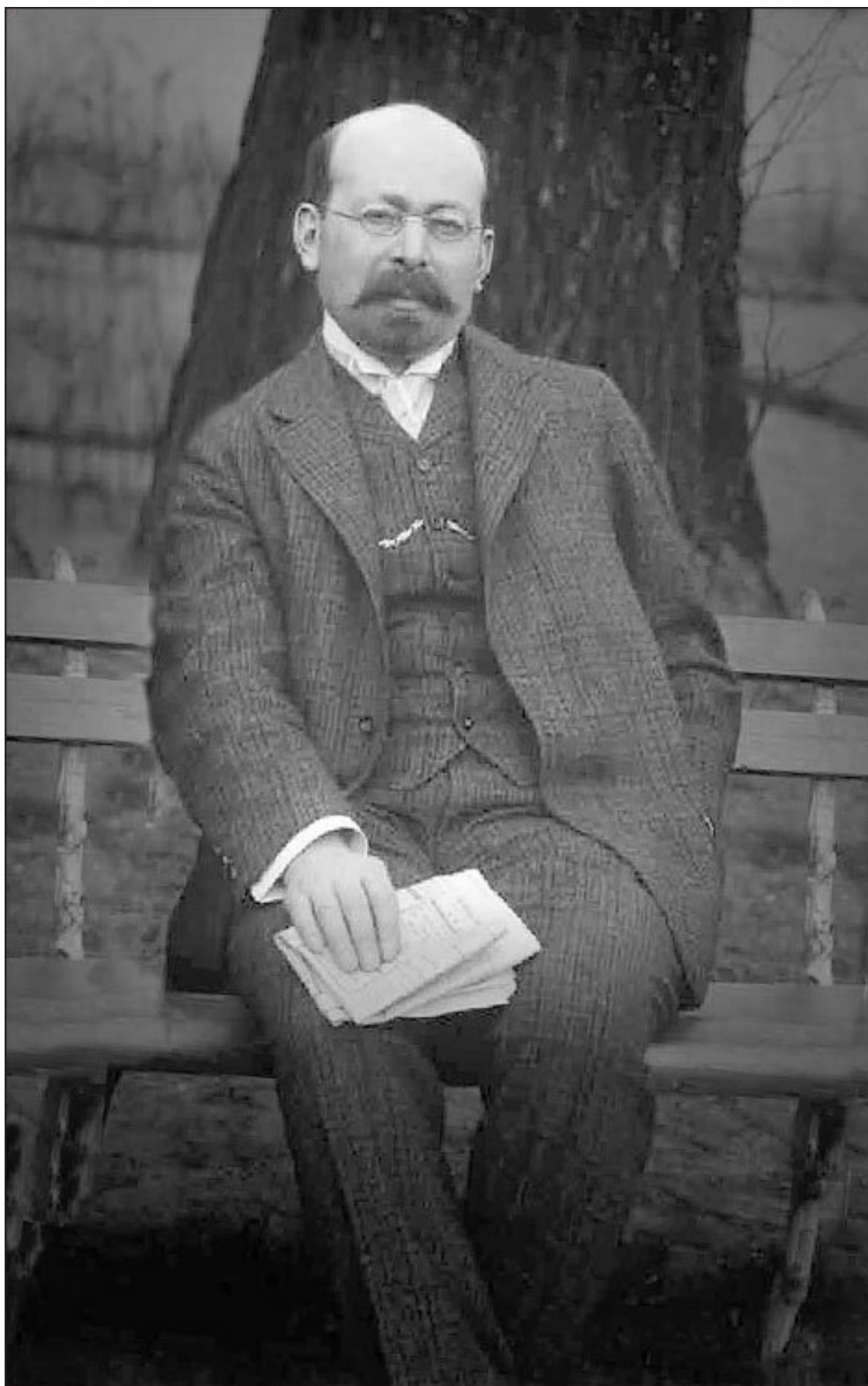
© Гессен И. В., 1937  
© Центрполиграф, 1937

## Содержание

От издательства	8
Вступление	9
Детство	13
Гимназия	22
Конец ознакомительного фрагмента.	31

**Иосиф Гессен**  
**В двух веках. Жизненный отчет**  
**российского государственного**  
**и политического деятеля, члена**  
**Второй Государственной думы**

© «Центрполиграф», 2022



## От издательства

Иосиф Владимирович Гессен в начале XX века был человеком широко известным и популярным в обществе; весьма популярна была и оппозиционная газета «Речь», рупор Конституционно-демократической партии, главным редактором которой он был. Впрочем, редактирование «Речи» было не единственным делом И. В. Гессена – юрист (судебный чиновник, сотрудник министерства юстиции, адвокат – он испытал различные виды профессиональной деятельности), издатель и редактор журнала «Право», посвященного проблемам юриспруденции, один из лидеров Конституционно-демократической партии, депутат Государственной думы... И это лишь основные вехи – Гессен был воистину энергичным человеком. И жизненные впечатления у него накопились разнообразные – он был лично знаком с министрами, политиками, знаменитыми литераторами и журналистами... Знал Льва Толстого, с которым довелось поспорить, Горького, Короленко, Аверченко... К Чуковскому, начинающему журналисту, относился покровительственно. Бенуа по-приятельски оформлял для Гессена печатные издания и готовил для «Речи» статьи об искусстве. Шаляпин развлекал гостей на званых обедах в доме Гессена. Витте, Протопопов и другие министры приглашали его для неформальных бесед.

Но был у И. В. Гессена и другой опыт – исключение из университета «за политику», аресты, ссылка на Север... Грехи бескомпромиссной молодости многому научили, с годами он стал осторожнее и старался не вступать в конфликт с законом. Но всегда оставался явным противником самодержавия.

Однако Февральская революция не порадовала Гессена, в отличие от многих его партийных товарищей. Уже в эмиграции он признался, что лицемерил, воспевая в печати «великую бескровную революцию» и наступающую «зарю новой жизни». Новая жизнь разочаровала...

«Вот и осуществилось предчувствие, что России непоправимо дорого обойдется участие в войне с заранее предрешенным, каких бы жертв она ни требовала, исходом. Положительно утверждаю, что ни одной минуты не верил, что революции удастся прекратить разруху, обуздать стихию, всеми фибрами души ощущал, что мы стоим на наклонной плоскости, на которой удержаться немислимо, а куда соскользнем – не вижу, и сохраним ли при этом голову на плечах – не думаю», – писал Гессен в воспоминаниях.

Предчувствие его не обмануло – те, кто взял власть в стране, не могли найти общий язык даже друг с другом, разброд и шатания шли во всех властных структурах, и вскоре все было сметено событиями Октября 1917 года... После революции Гессен с семьей выехал в Финляндию, где задержался на несколько месяцев и вернулся в 1918 году уже в советскую Россию. И вскоре понял, что придется уезжать в эмиграцию. Думал на время, а оказалось, что навсегда...

За границей И. В. Гессен по-прежнему занимался журналистской работой, и выпускал главное для себя издание – «Архив русской революции», собрав мемуары и документы о революционных событиях в России. Последний 22-й том издания Гессен посвятил собственным воспоминаниям. Хотя тогда же, в 1937 году в Берлине было выпущено и книжное издание его мемуаров.

«Страстной остается только одна мечта и жгучим одно только желание – перед смертью еще раз увидеть родину и там умереть», – горько писал Гессен в этой книге...

## Вступление

Несколько раз начинал я записывать свои воспоминания. Впервые лет сорок тому назад, вернувшись в 1889 году на родину после трех с половиной лет пребывания в петербургской тюрьме и ссылки на далеком Севере России. Ссылка приобрела в жизни моей огромное, скажу – решающее значение, и я почувствовал живейшую потребность в этом разобраться. Но не пришлось закончить начатое изложение, а двадцать пять лет спустя, в самом начале советского режима я очутился в крошечном финляндском городишке Сортавала и, отрезанный перерывом железнодорожного сообщения с Россией, засел за работу над воспоминаниями. Здесь я успел занести на бумагу четыре важнейших этапа жизни, в том числе вторично изобразил свое пребывание в ссылке. Вернувшись затем в Петербург, как только сообщение с Россией возобновилось, я поспешил сравнить два варианта сделанных мной записей, и оказалось, что они существенно между собой разнятся: хотя в обоих была только одна правда, но восприятие пережитого на протяжении 25 лет стало иным, сердце билось уже медленнее и слабее, это отразилось и на пере.

Впоследствии я многократно возвращался к написанному, подвергал новой обработке; как только по той или иной причине выдавался некоторый досуг, неудержимо влекло к продолжению работы, то в форме дневника, то в виде связанного изложения отдельных моментов.

Прекращение издания «Руля» и «Архива русской революции» оборвало напряженную деятельность, и вот уже четыре года, как досуга у меня более чем достаточно. Тут-то, казалось бы, и приступить к завершению работы над воспоминаниями. Но в смутной тревоге я останавливаюсь перед глубокой пропастью – перед бездной, которая разверзлась между прошлым и настоящим, между двумя столетиями, в частях которых протекала жизнь моя. Правда, духовный разрыв между поколениями не представляет для России чего-то необычайного. В одном из замечательнейших стихотворений своих Пушкин утверждает, что на любви к родному пепелищу, к отеческим гробам зиждется «по воле Бога самого само-стоянье человека, залог величия его». Но в России, которую История двигала вперед резкими толчками, не сложилось условий для выработки и упрочения традиций. На это явление впервые обратил внимание знаменитый роман Тургенева «Отцы и дети», вызвавший взрыв негодования и острую полемику. Огорченный автор утешал себя, что это не больше чем «буря в стакане воды», о которой через несколько лет никто вспоминать не будет. Так оно и случилось, но открытая Тургеньевым категория «отцов и детей» не только не исчезла, но напротив, все рельефней оформлялась и становилась все более яркой чертой русской общественности. Если уже до Тургенева различали людей тридцатых, людей сороковых годов, то засим были у нас шестидесятники, семидесятники, восьмидесятники и т. д., и все эти термины отнюдь не представляют собой хронологических обозначений, а содержат указание на определенное мировоззрение. Реализм, нигилизм, позитивизм, материализм, идеализм, декадентство – все это промелькнуло со времени появления упомянутого романа, в сущности, на протяжении одной человеческой жизни. Ведь и теперь еще найдутся среди нас современники Тургенева, ведь и теперь еще здравствуют люди, пережившие крепостное право, осенний расцвет самодержавия при Николае I, разложение этого режима при Николае II. И теперь столько еще есть русских людей, которые всю свою сознательную жизнь посвятили борьбе с самодержавием, жертвенно подвергаясь правительственным преследованиям, и вынуждены были покинуть родину и рассеяться в изгнании, когда наконец режим этот был свергнут. Неудивительно, что при столь быстром ходе событий отчуждение между следовавшими одно за другим поколениями все росло, а когда грянула революция, в своем стихийном порыве принципиально отрекаящаяся от прошлого, это отчуждение, этот духовный разрыв должен был принять формы уродливые. В советских газетах то и дело печатаются заявления об отречении детей от отцов, и если в таком противоре-

ственном заявлении имеется бесспорно элемент непосильного гнета политической власти, то недалеко отсюда стоит и молодое поколение эмиграции, которое в своих газетах бесцеремонно квалифицирует отцов как «гниль и рухлядь». А ведь, казалось бы, за границей России молодежь и могла бы научиться уважению к традиции, которая в Европе давно уже играет большую культурную роль. Но в том-то и горе, что русская революция, как и можно было ожидать, широко развернула свое воздействие, однако не в смысле коммунистической пропаганды. Формально Коминтерн может торжествовать победу: он возвестил, что добьется мировой революции – пролетарской, революции он и добился, но только с «другой стороны», как, впрочем, и в самой России, под грубой маской «строительства социализма в одной стране» бешеными темпами, требующими чудовищных человеческих гекатомб, насаждается неприкосновенный капитализм, о судьбах коего в России так страстно спорили в восьмидесятых годах прошлого столетия народники и марксисты.

Это влияние русской революции, все шире распространяющееся, меньше всего привлекает к себе внимание, но все чувствуют, тревожно ощущают, что, говоря словами Гамлета, подлинно распалась связь времен, и самым модным ходячим определением переживаемого времени становится выражение: «возвращение к средневековью». У меня эти трагические слова датского принца непрерывно звучат в ушах, и настойчиво в мозгу гвоздит мысль, нельзя ли чем-нибудь помочь связь времен восстановить. В 1920 году, став во главе основанного в Берлине русско-немецкого издательства, я предложил, между прочим, обратиться к наиболее выдающимся представителям науки и искусства во всем мире с просьбой изложить, как основная идея господствует в настоящее время в области их творчества. Внутренне я был убежден, что изданный сборник ответов даст возможность установить, что во всех областях доминирует одна и та же основная идея, один лейтмотив, и, во-вторых, выяснить, в какой мере эта идея была подготовлена и подсказана минувшим веком, от которого «дети» с таким презрением отрекаются. Но, одоббив всю программу, издательство именно это предложение категорически отвергло, как совершенно непрактичное. Я делал еще ряд попыток в Германии и Америке, но с тем же результатом, и неудача оставила мне одно, правда весьма слабое, утешение, что если бы десять–двенадцать лет назад собрать и опубликовать руководящие взгляды «треста мозгов», то легче было бы ориентироваться, найти ариаднину нить, по крайней мере, хоть уяснить себе – переживаем ли мы переходный период смуты, вызванной необычайными потрясениями последних десятилетий, или вступаем в новую историческую эпоху, присутствуем при муках рождения ее.

Более реальным утешением было бы возобновить работу над воспоминаниями, над составлением жизненного отчета, который мог бы дать некоторый материал для освещения второй половины проклинаемого минувшего столетия и бурного начала нынешнего. Но, как уже сказано, пугала бездна, разверзшаяся между прошлым и настоящим, удерживало горькое опасение еще сильнее обострить томительное, почти невыносимое чувство одиночества. Еще задолго до «Отцов и детей» Пушкин выражал сожаление о несчастном друге, который переживает своих сверстников и станет «среди новых поколений докучный гость, и лишний, и чужой». А сейчас и самое слово «гость» неуместно, вместо него нужно поставить «недруг»: сидя в своей одинокой комнате и слушая доносящийся с улицы шум мимо несущейся жизни, невольно различаешь в назойливых сиренах автомобилей, в резких звонках трамваев как будто бы укоризну, упрек, угрозу, и со дна души поднимается тревожное раздражение. Мне и казалось, что если совсем уйти мыслями и помыслами в прошлое, если оживить тени, окружить себя бледными призраками невозвратных лет, то, поневоле возвращаясь от работы над воспоминаниями к действительной жизни, еще болезненнее будешь ощущать свою чуждость, просто почувствуешь себя живым трупом. Страшно одиночество не само по себе: напротив, глубокой ночью, когда огромный город наконец затихнет и кругом воцарится спокойствие, полудремот-

ная бессонница является блаженным состоянием. Но тяжело быть бездейственным свидетелем мятущейся беспомощно жизни и лишь сторониться от случайных или умышленных толчков.

Из этих опасений и воздержания вывел меня, так сказать, «внутренний враг», те мои сверстники, которые усердно упражняются над прошлым в догадках, что было бы, если бы было не так, как было, если бы когда-то. В таком-то случае поступили не так, а иначе, как оно теперь кажется правильным. Но ведь не арифметическая задача тогда решалась. Ведь и хорошо удавшийся лабораторный опыт дает часто совсем другие результаты при повторении его в широком масштабе. Кроме видимых слагаемых, над которыми теперь охочие комментаторы оперируют при помощи угодливого «если бы», тогда были еще налицо какие-то *imponderabilia*<sup>1</sup>, которые, как бациллы во время эпидемии, играют решающую роль. Теперь они улетучились и влияние их так бесследно исчезло, что даже не верится, что когда-то находился под его неотразимым обаянием. Слишком грандиозны были трагические события последних десятилетий, чтобы не слышать в них разгула стихии, и достаточно и без того развенчан человек, чтобы еще вбивать в могилу его царственной репутации осинового кол запоздалых уверений, что судьба человечества могла бы быть иной, если бы или другое лицо, или политическая партия не сделали бы ошибки. Чаще всего, например, приходится слышать мнение, что если бы в последнюю роковую неделю июля 1914 года Распутин был не на родине в Сибири, а находился в Петербурге, то благодаря его влиянию на царя война бы не вспыхнула, а не будь войны, не было бы и революции. Само по себе и такое обидное предположение вполне отвечает вероятности, но, если бы оно осуществилось, война была бы лишь вновь отсрочена, как была уже однажды отсрочена за три года до этого, во время агадирского инцидента<sup>2</sup>, и еще тремя годами раньше, когда Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину. Можно поэтому противопоставить означенному предположению совсем другое «если бы», а именно: если бы отсрочки не было, если бы война вспыхнула в 1909 году из-за аннексии Боснии и Герцеговины, последствия ее были бы, несомненно, менее ужасны (ибо тогда техника была менее совершенна), и, напротив, было бы, пожалуй, еще намного хуже, если бы в 1914 году была достигнута новая отсрочка на три года и сейчас нас отделяло бы от войны меньше лет. Мне думается, что, как бы ни расценивать роль личности в истории, нельзя опускаться до такого самоуничтожения и, быть может, оно и объясняется безжалостным развенчанием человека. Ибо если допустить, что капризы случая, комбинации «если бы» могут неожиданно и причудливо менять величавый ход истории, то чем же можно было бы жить и во имя чего работать? Нет, какое бы из всех «если бы» ни осуществилось своевременно, оно в лучшем случае могло бы задержать, завертеть на месте или, напротив, ускорить ход событий, но отнюдь не свернуть его круто с дороги, в муках подготовленной предшествовавшими поколениями. Поэтому *hic Rhodos, salta*<sup>3</sup>. Ревнивые комбинаторы слишком легко забывают язвительно мудрые слова Мефистофеля (к которым вполне присоединяется великий писатель земли русской Л. Толстой): *Du glaubst zu schieben, und du wirst geschoben*<sup>4</sup>.

Но были ли ошибки и можно ли было их избежать? Я искренно свидетельствую, что, хотя из чаши жизни пришлось выпить немало горя, мне нельзя жаловаться на прошлое. Напротив, я бесконечно благодарю и благословляю судьбу, которая сблизила меня с «орденом» русской интеллигенции. Такого ордена не было тогда в Европе, и больше не будет его и в России. Отли-

---

<sup>1</sup> Невесомость (*англ., лат.*), переносное значение: случайные факторы и обстоятельства в жизни человека.

<sup>2</sup> Агадирский инцидент – обострение отношений между Францией и Германией по вопросу контроля над Марокко и разделу сфер влияния в Африке, связанное с появлением в 1911 г. немецкой канонерской лодки у марокканского побережья для запугивания размещенных там французский военных частей.

<sup>3</sup> «Здесь Родос, здесь и прыгай» (*лат.*) – шутивное выражение, восходящее к басне Эзопа «Хвастливый пятиборец» про человека, хвалившегося на родине своими спортивными успехами на острове Родос, в ответ на что ему предложили продемонстрировать мастерство здесь же, на месте.

<sup>4</sup> Ты думаешь, что двигаешь ты, а двигают тебя (*нем.*) (И. В. Гёте, «Фауст»).

чительным признаком интеллигенции было, что на первом месте стояло для нее общественное служение, подчинявшее себе все другие интересы. Это создавало особое возвышенное настроение, точно первая любовь, заставляло звучать в душе золотые струны и высоко поднимало над будничной суетой. Благословляю судьбу за то, что на долгом жизненном пути она сталкивала меня с целым рядом выдающихся представителей этой интеллигенции. Большинство уже перешло земной предел, но воспоминание о них приливает горячую волну, согревающую и возбуждающую усталое, хладное сердце.

Таковы настроения и выводы, к которым привел утомительный, долгий жизненный путь, на котором было пятьдесят лет политической и общественной деятельности. Я отнюдь, однако, не собираюсь навязывать другим свои выводы: мне лишь кажется, что для проверки их правильности мой жизненный опыт дает много интересного и ценного материала, который я и постараюсь изложить с доступной для человека правдивостью. Как колобочку в прелестной сказке удалось уйти и от зайца, и от волка, и от медведя, – так же, по моему мнению, нетрудно уйти от тенденциозности, от преувеличения и выдвигания своей личной роли и значения, которые теперь уже решительно никому не интересны. Но очень нужно опасаться, чтобы лисой, перехитрившей колобка и съевшей его, в данном случае не оказалась память. Русский крестьянин, приступая к рассказу о прошлом, непременно начнет с трогательного обращения к Богу: дай Бог не соврать! Нужна, ох как нужна помощь против памяти, потому что она-то большая мастерица превращать желательные «если бы» в отошедшую действительность. Но и ограждения правды еще недостаточно, чтобы благополучно уйти от проделок памяти, потому что еще более затейливо она умеет сортировать громадные залежи свои и вызывать на свет Божий не все, что хранит в своих необъятных закромах. Вот где подстерегает опасность, и единственной гарантией против нее может служить возраст, который и на память действует отрезвляюще, ибо, как бы живо и ярко она ни воскрешала минувшее, но когда-то оно «неслось событиями полно, волнуясь как море-океан», а теперь оно безмолвно и спокойно.

Страстной остается только одна мечта и жгучим одно только желание – перед смертью еще раз увидеть родину и там умереть.

*1 января 1935 – 8 января 1936  
Берлин–Париж*

## Детство (1865–1873)

Справедливо прозванная Южной Пальмирой, родина моя Одесса пользуется, однако, весьма незавидной славой и в общественном мнении, которое, как известно, считается гласом Божиим, и в литературе – немало выкормила она писателей и публицистов, но никто, кажется, не отплатил ей благодарной памятью. Лестное прозвище, которое Одесса заслужила главным образом своим красивым расположением на высоком берегу Черного моря, и является, в сущности, источником недоброй славы ее. Благодаря положению у моря Одесса и стала важнейшим центром русской хлебной торговли с границей и потеряла свое лицо, привлекая двенадцать языков: были в Одессе улицы Еврейская, Греческая, Итальянская, Малая и Большая Арнаутская, Молдаванка. Хлебная торговля сопряжена была с постоянным, не поддающимся учету риском, в зависимости от колебания курса нашего бумажного рубля на зарубежных рынках, от неожиданного замерзания одесской бухты и т. п., и риск создавал атмосферу спекуляции и авантюризма, окутывавшую весь город и определявшую его интересы, стремления и благополучие. Когда проведение Екатерининской железной дороги переместило центр тяжести в захудалый до того Николаев, а Виндаво-Рыбинская железная дорога, по инициативе одного из моих двоюродных братьев, отвлекала много грузов к балтийским портам, Одесса захирела. Теперь и от прежних названий ничего не осталось, и вообще мне трудно ориентироваться в лежащем передо мною новом плане города. Но в шестидесятых годах прошлого столетия, с которых начинается летопись моя, процветание Южной Пальмиры делало все новые успехи: раньше она притягивала к себе весь урожай с Приднестровья, а потом младший брат отца вовлек в ее орбиту и Днестровский район, сконструировав новый тип баржи, годный для мелководными местами Днестра, и слово «гессенка» появилось в русских энциклопедических словарях раньше, чем уже в позднейших изданиях удостоилась упоминания и сама фамилия Гессен.

Я не знаю, откуда эта фамилия появилась в Одессе. Мы генеалогией не интересовались. Очень плохо помню я деда по отцу, он умер, когда я еще не отдавал себе отчет в окружающем, а сейчас не могу отдать себе отчета, помню ли я его образ по фотографии или по непосредственному восприятию. К памяти его относились с большим уважением, и «Еврейская энциклопедия» причисляет его к купцам, известным своей общественной и торгово-промышленной деятельностью. Отец, да и все братья его и мужья сестер так или иначе тоже были прикосновенны к хлебной торговле. Отец получал на комиссию огромные партии зерна, грузившиеся скупщиками-комитентами в днепровских портах, и продавал их в Одессе заграничным экспортным фирмам.

После утреннего чая мы с братом, который на два года меня старше, но учимся мы вместе, играем в вымощенном булыжником дворе нашего дома, поливаем двор из водопроводного крана, прижав отверстие пальцем, отчего вода распыляется фонтаном, то и дело обдающим нас самих, и наблюдаем за приземистым широкоплечим кучером Иваном, который запрягает в легкую коляску обожаемого нами бойкого Красавчика – он вполне стоит своего названия: светло-кофейный в яблоках. Вот Иван уже солидно уселся на козлах и важно покрикивает на Красавчика, высекающего искры из булыжника нетерпеливой стройной ногой. А отец все не показывается, и мы начинаем волноваться: не произошло ли опять раздраженного разговора с матерью из-за просимых ею денег на домашнее хозяйство. Почему эти недоразумения так часто повторяются, почему раз навсегда не договорятся, сколько можно тратить? Этот вопрос нас очень занимает, потому что после такого разговора отец, маленький, шуплый, с чуть вьющейся рыжеватой-черной бородой, появится во дворе совсем угрюмый, как бы не замечая нас,

молча сядет в коляску, и наши надежды на купание в море разбиты безжалостно. А может быть, задержал его Серебряник, старый, сторбленный молчальник, самоучка-бухгалтер, и конторщик, и корреспондент, беззаветно преданный и щепетильно честный, но частенько путающий. Или принес он из гавани, где уже ранехонько утром побывал, какие-нибудь неблагоприятные вести, которые производят еще более нежелательное действие на настроение отца. Но вот он наконец во дворе, мы стараемся придать себе равнодушный вид, но быстро подбегаем, когда он, уже занеся ногу на подножку, приглашает ехать с ним.

Дом наш стоял в конце Ришельевской улицы, а мы отправлялись на другой конец: сейчас соображаю, что и всего-то требовалось не больше пятнадцати минут пешего пути, но тогда это казалось гораздо дальше, время, очевидно, тянулось медленнее. Чем ближе к этому концу улицы, тем становится люднее, а на последнем квартале настоящая толчея. Тротуар заставлен какими-то странными, окрашенными в ярко-зеленый цвет стойками, напоминающими учебнические парты – за ними восседают тепло одетые мужчины и женщины – уличные менялы, производящие простейшие банкирские операции. Между стойками снуют люди, друг с другом встречающиеся и быстро расходящиеся, чуть не сбивающие один другого с ног. Это все голытьба, состоящая при маклерских конторах: она старается добыть для своих патронов сведения об идущих и прибывших грузах, выяснить средние цены, уговорить встреченного продавца не дорожиться и затем сломя голову бежать в контору. По возвращении из ссылки мне пришлось быть на приеме у градоначальника Зеленого, прославленного щедринского помпадур. Один из просителей, еврей, горько жаловался на притеснения полиции и на грозный вопрос Зеленого: «Чем занимаешься?» – простодушно ответил: «Мы тремя около Тейтельмана», чем вызвал бешеный гнев помпадур, не оценившего, как метко проситель охарактеризовал свое безрадостное существование.

Этот отрезок улицы носит загадочное название Грецк, здесь расположена большая часть маклерских и экспортных контор. Вот один невзрачный человек, с зонтиком в руках, даром что небо безоблачно, рывком выделяется из снующей толпы, сильно жестикулируя зонтиком, останавливает нашу коляску и, крепко ухватившись руками за крылья ее, быстро-быстро начинает заговаривать отца. Жаргон мы не совсем свободно понимаем, дома с родителями говорим только по-русски, но то, что юркий человек с такой горячностью внушает, нам представляется просто бессвязным перечислением фамилий, отдельных слов и цифр: слышится: Анатра, Радоканаки, Юровский (это все крупные экспортные фирмы), Тейтельман, Клейн (маклеры), гирка, леи, вчера полкопейки, нет – копейка, плохой вес, пыль, шурф, проба и т. д. Минут через пять он недовольно отходит от коляски, но только что мы трогаемся, мановением другого зонтика вновь преграждает нам путь, потом отец замечает кого-то в толпе и, остановив Ивана, выходит на тротуар.

Ну, наконец раздается решительное «Трогай!», и Красавчик везет на довольно крутой спуск к гавани, скользя на отполированных ездой камнях. Иван изо всех сил натягивает вожжи (тормоза не полагалось), и лошадь так упирается, что скрипит дуга, которую теперь можно увидеть только в кинематографе на так называемых русских картинах. Отец глубоко погрузился в размышления о полученных на Грецк предложениях, и о нашем присутствии он совсем забыл. Он страшно удивился бы и не поверил, если бы ему сказать, что мы принимали живейшее участие в его разговорах, силясь сочетать бессвязные слова и уловить смысл цифр, хотя бы со стороны зависимости от них его настроения. Он убежден, что мы впитываем лишь то, что специально для нас уготовлено: начальное училище (пансион) Вербеля, дома – уроки еврейского языка, ну, там еще книги из библиотеки, наконец, допустим – игры. Но так как он интересуется только результатами учебы, четвертными отметками и переходом в следующий класс и никогда даже не заглянет в лежащие перед нами книги, так и мы должны быть глухи к тому, что хоть и слышим, но нас явно не касается. Но вот поди ж ты: только и помню, что у Вербеля мы учились, но чему, и как, и с кем – ни-ни, и от бездарного учителя еврейского языка оста-

лось только умение с грехом пополам читать, не понимая смысла. А людской гомон на Грецк и разговоры из коляски до сих пор отчетливо звучат в ушах. А в коляске еще лежит знакомый странный предмет, заставляющий сомневаться, едем ли мы прямо в купальню Исааковича. Этот предмет, имеющий рукоятку лопаты с довольно глубоким медным корпусом на конце, и есть упоминавшийся в разговорах шурф, которым зачерпывают со дна баржи зерно, чтобы проверить добротность. Наличие шурфа свидетельствует, что придется еще ехать на волнорез, где ошвартовалась баржа. Если отец в хорошем настроении, мы просим разрешения пешком сбежать с гигантской широченной лестницы, спускающейся с бульвара у памятника строителю Одессы Ришелье в гавань, и приходим к купальне раньше, чем отец возвратился с волнореза. Купание в гавани мало привлекательно, вода грязная, плавают арбузные и дынные корки, но купальщиков много, отец обучает нас плаванию и показывает, все с тем же сумрачным видом, разные «фокусы» в воде.

Домой возвращаемся прямо к обеду. Мать, высокая, пышная, черноволосая и белотелая, очень красивая, уже сидит за столом с сестрой, очень на нее похожей, если бы не нос, унаследованный от отца. Да и душевными свойствами она двоятся между веселой, беззаботной, жизнерадостной матерью и молчаливым, недоверчивым и нерешительным отцом. Эта печать двойственности лежит и на нас с братом.

Если ничего не случилось в широко разветвившейся семье отца, не получено письма из Екатеринослава от родителей матери, обед проходит в молчании: в дела свои отец никого не посвящает, политические и общественные новости интересуют его лишь с точки зрения влияния на хлебную торговлю: помню объявивший наш дом ужас, когда Русско-турецкая война 1877–1878 годов заперла выход из Черного моря и внезапно приостановила хлебную торговлю. Ф. И. Родичев<sup>5</sup> любил рассказывать анекдот о Николае I: когда во время Крымской войны ему доложили, что население встревожено и волнуется из-за севастопольских неудач, император ударил кулаком по столу и воскликнул: «А им какое дело?» Отец, да и вся его и материнская семья считали, им действительно никакого дела нет, и были самыми неприятельными верноподданными.

Молчание вдруг прерывается громким голосом матери, заметившей, что кто-нибудь из детей уклоняется от еды и имеет недовольный вид: «Ты почему дуешься? Съешь хоть еще этот кусочек». Если уговоры не помогают, мать раздраженно замечает: «Прежде это называлось сумасшедший, а теперь, – голос звучит с иронией, – просто нервный». А мы этим способом частенько ее шантажировали, чтобы добиться исполнения какого-нибудь желания.

Из-за стола расходимся тоже молча, благодарить родителей не полагалось, это «нежности» и условности, которые вызывают насмешку, а я в особенности к ней очень чувствителен. Положительно не помню, чтобы отец или мать поцеловали нас, за исключением расставания на время; день рождения не праздновался и вообще ничем не отмечался, разве что единственный раз, при достижении мальчиком тринадцатилетнего возраста, духовного совершеннолетия, обязывающего утром молиться, надев на руку и на лоб два черных деревянных кубика со вложенными в них текстами молитв. Нежности проявлялись только тайно: притворившись во время болезни спящим, можно было, чуть приоткрыв глаза, наблюдать, как отец на цыпочках подходит и, низко склонившись над больным, долго прислушивается к дыханию.

После обеда бывал тягостный урок еврейского языка, тягостный потому, что в явный вред себе твердо держались принципа – числом поболее, ценою подешевле, и то только во второй его части. Когда позже отец принялся за перестройку дома, обошедшуюся в несколько десятков тысяч рублей, разработка плана была поручена доморощенному архитектору, и из-за экономии в 200–300 рублей обезображен был дом и уменьшена его доходность. При поступ-

---

<sup>5</sup> Ф. И. Родичев – политик и общественный деятель, член Государственной думы всех четырех созывов, вместе с И. В. Гессеном являлся одним из основателей Конституционно-демократической партии.

лении в гимназию старшему брату – учение давалось ему туго – пришлось взять репетитора и приглашен был сын одного из жильцов, взрослый гимназист третьего класса, которому платили 4 рубля в месяц, притом не непосредственно, а предоставляя удерживать из неаккуратно вносимой квартирной платы. Репетитор завел тетрадку, в которой выставял брату отметки, и, к великому соблазну, я видел написанное им слово: «поведение» – у него не хватило смелости допустить, что среди трех звуков «е» ни один не пишется через «ять». Таков примерно был и учитель еврейского языка, и очарование Библии, равно, впрочем, как и древних классиков, я познал уже только в зрелом возрасте, собственными тяжелыми усилиями продираясь сквозь внушенное жалкими невеждами молодецкое отношение к величайшим творениям человеческого гения.

У сестры в это время бывал урок музыки на рояле, а позже и пения. Музыка вызывала всегда особые сладостно-волнующие ощущения; с неослабевающим наслаждением я всегда слушал и гаммы, и экзерсисы, и сольфеджио, и страстно сестре завидовал, но обучение мальчиков музыке считалось по меньшей мере неуместным: другое дело – девицы. Предлагая невесту, сваха не преминет на одном из первых мест упомянуть об умении играть на рояле, это крупный козырь, а мальчикам оно ни к чему.

После окончания урока мы все сбегаясь к матери – отца, как обычно, опять нет дома, и можно шумно выражать свое настроение – мы уверены, что у нее припрятаны какие-нибудь лакомства, в особенности тающие во рту пирожки – птифур из замечательных французских кондитерских, мать отнекивается, но на наши ласки быстро сдается, мы вместе уплетаем, и так до старости я и остался сластеной.

А затем с братом спешим в библиотеку, где, кажется, уже с семилетнего возраста были абонированы – в доме, кроме наших учебников, не было ни одной русской книги, да и вообще никаких книг, кроме молитвенников и еще каких-то брошюр, которые сочинял дальний родственник матери – маньяк, еврейский вариант юродивого, бедный как церковная крыса. Все собранные за брошюры деньги он употреблял на печатание новых, а чем и как питался – было загадкой, он как будто в питании и не нуждался. Может быть, потому, что книга в доме была редкостью, я к ней питал большое беззаветное почтение и с неким благоговением входил в библиотеку Бортневского, в которой три комнаты по всем стенам были уставлены полками с книгами с золотым или черным тиснением на желтом корешке переплета. В библиотеке всегда царил серьезная тишина, и сам Бортневский, высокий блондин с приятным лицом и задумчивыми, где-то витающими глазами, говорил тихим, осторожным голосом, словно боясь нарушить покой книг. Я был убежден, что он все книги прочел – как же иначе – и в его серьезности видел проявление сознания своего превосходства над посетителями, которым не под стать одолеть и сколько-нибудь заметную часть его сокровищницы. Бортневский был, в сущности, единственным руководителем нашего самообразования, и ему я был обязан упоительным наслаждением, доставленным чтением, вернее – глотанием Майн Рида, Эмара, Жюль Верна, Вальтера Скотта. Мне казалось, что писатель, способный доставлять другим высокое наслаждение, сам должен быть существом сверхъестественным, литературное творчество рисовалось не житейским занятием, а священнодействием, и звание писателя недостижимым. Безжалостная действительность, среди многого другого, не только разрушила детское представление, но не раз, особенно в изгнании, мстила жестокими разочарованиями, однако след этого представления удалось, к великому счастью, пронести в душе через всю жизнь. А тогда меня все тянуло попробовать испытать, какие чувства, какое состояние овладевает, что вообще происходит с человеком, когда он отдается сочинительству. В глубокой тайне, даже от брата, я приобрел изящную записную книжку и, крадучись, стал сочинять, конечно, беспомощное подражание прочитанному.

Однажды, когда вся семья сидела за вечерним чаем и я тут же погружен был в чтение, отец, находившийся в необычно хорошем настроении, вдруг сказал: «А вот я прочту вам нечто

очень интересное». Я оторвал глаза от книги, но по близорукости не разглядел, что у него в руках моя тайна, а он, хитро подмигивая, с деланным пафосом прочитал что-то вроде: «Раздался громкий залп! Храбрый вождь как подкошенный упал на землю, но глаза все еще пылали мстью». Меня-то действительно словно подкошило, я так испугался, что перехватило дыхание, почувствовал, что краска заливает лицо, слезы вот-вот брызнут, и тогда впервые понял, что значит – желать провалиться сквозь землю. Отец, по-видимому, был удивлен неожиданным эффектом, на полуслове остановился и с доброй, смущенной улыбкой, еще обострившей мое замешательство, вернул книжку.

С тех пор от подражаний я решительно излечился, а став редактором, относился к охотникам до чужого литературного добра с преувеличенным ожесточением, раза три пришлось даже сражаться в судах чести. Но мне сдается, что это безобидное подшучивание потому так врезалось в память, что оно поколебало уверенность, и когда, много лет спустя, потянуло к писательству, приходилось преодолевать назойливые сомнения и в ушах вдруг звучало: «Храбрый вождь как подкошенный упал на землю». Но этим храбрым вождям я очень многим обязан: они пленяли рыцарским благородством и бесстрашием, прямоотой и честностью, отвращением и противодействием насилию, покровительством слабым, жаждой подвигов.

Странно, однако, что об одной важной черте я совершенно забыл упомянуть и спохватился лишь по окончании всей работы, перечитывая эти страницы. В характеристике Алеши Карамазова Достоевский подчеркивает его «исступленную стыдливость и целомудрие». Монашеских настроений и тяготений у меня и в помине не было, восьми лет я был уже влюблен в свою сверстницу, красавицу кузину, и ее фотография, выкраденная из семейного альбома, всегда была со мной, женская красота производила очень сильное впечатление. Но совсем как Алеша, я не мог слышать «известных слов и известных разговоров о женщинах», лицо заливалось краской, если товарищи, издеваясь, силой заставляли их выслушивать. И потом, во всю жизнь, этой интимной области я не касался в беседах даже с самыми близкими друзьями.

Вечерним чаепитием, около 10 часов, день заканчивался. Нам с братом отведена была – и для работы, и для сна – полутемная комната, выходившая окнами в застекленный коридор, хотя квартира была большая, а после перестройки имела двадцать девять окон по фасаду двух пересекающихся улиц. Но лучшая комната служила залой в пять окон с балконом, раскрашенным под паркет полом, от времени до времени так начищаемым, что дня два после этого стоял неприятнейший запах воска, смешанного с потом. В залу вообще, по молчаливому запрету, входить не полагалось, она предназначалась только для каких-либо торжественных случаев, к которым не относились редкие посещения гостей-родственников, довольствовавшихся столовой. Зала и была самой неуютной комнатой, какой-то безжизненной, и отличалась от других только дешевой нарядностью: кроме рояля, украшением были две посредственные гравюры на сюжет из библейской истории и несколько пестрых безделушек, привезенных из Карлсбада, куда жирная еврейская кухня гнала для лечения катара и страданий печени. А во всех других комнатах стены были совсем голые, на столах ни одного цветка, вообще – ничего, что ласкало бы и радовало глаз, все это было ни к чему, совершенно так, как и «нежности». В большой, вместительной квартире всегда было душно и затхло, потому что потребность в чистом воздухе убежденно считалась предрассудком. Окна раскрывались только летом, зимой все щели заделывались ватой и покрывались замазкой, затвердевавшей, как камень. А вместо проветривания пускались в ход курительные свечки, дымом своим еще больше отравлявшие воздух. Но развитие физических сил вообще расценивалось как вздорная затея: сильным прилично и нужно быть «биндюжнику», о таких выдающихся силачах и повествует в своих одесских рассказах Бабель. А мальчику из «порядочного семейства» заботиться о мускулах и тем более заниматься спортом было бы крайне неприлично. Такие глубоко укоренившиеся взгляды и имели результатом, что мы, все трое, заболели противнейшей золотухой и всю зиму нас отпаивали рыбьим жиром, а лето мы впервые провели на даче и сразу же все оправались. Припоминаю еще, что

брат болел скарлатиной и был от меня изолирован. Когда он поднялся с постели, мы разговаривали через закрытую дверь, и, так как я ни за что не хотел поверить, что у него сходит вся кожа, он стал просовывать мне кусочки ее в замочную скважину.

Если кто-то заболел, немедленно появлялся добродушный человек с грозными насупленными бровями, окладистой черной бородой, приятно щекотавшей при выслушивании сердца и легких, и каким-то специфическим запахом. Когда впоследствии в еврействе прогремело имя доктора Пинскера, как пионера сионизма, и я прочел его пламенную брошюру «Автоэмансипация», я никак не мог сочетать этого пламенного трибуна с приветливым специалистом по всем болезням, с утра до ночи объезжавшим бесчисленных пациентов и больше, казалось, ничем не интересовавшимся. Был еще и фельдшер, с жесткой, как щетина, курчавой бородой и загадочным прозвищем Бинем – я так и не знаю, было ли это имя или обозначение профессии, – прививавший оспу, ставивший пиявки и банки и «отворявший» кровь. Но, например, ни врачу, ни, тем меньше, ему не приходило в голову порекомендовать употребление зубной щетки, тоже считавшейся прихотью. В общем, однако, мы, наперекор столь опасному презрению к гигиене, болели весьма редко и до старости пользовались завидным здоровьем, если не считать моего физического недостатка – рано развившейся близорукости. А ее никак нельзя скинуть со счетов – она оказала огромное влияние на формирование душевного склада. Недостаток этот обнаружился уже в первом классе гимназии, но ношение очков было тогда большой редкостью, и повели меня к окулисту лишь после настойчивых указаний гимназического начальства, что близорукость мешает учебным успехам, я и с первой парты не видел, что на доске написано. Постоянные опасения, что, того и гляди, попадешь впросак, развивали чувство застенчивости, неловкости, неуверенности, а когда стал носить очки, мальчишки на улице и в гимназии преследовали насмешками. Возможно, что этот недостаток способствовал и появлению вазомоторной неврастении, впоследствии отравившей несколько лет жизни. Но зато, с другой стороны, близорукость укрывала многое, что могло действовать отрицательно, люди казались красивее и лучше. Поэтому близорукость была, вероятно, источником наивности, если правильно (во всяком случае, настойчиво) друзья мои ставили ее мне на вид.

По разумению тогдашних врачей, очки давались слабые, далеко не восстанавливавшие нормального зрения. Только уже здесь, в Берлине, года три назад мне разрешено было пользоваться стеклами, почти полностью корригирующими близорукость, и, когда впервые посмотрел я сквозь них на свет Божий, мне показалось, что я вновь родился, и я пожалел себя, поняв, как суживались и обесцвечивались мои зрительные впечатления. Думаю все-таки, что баланс близорукости был в мою пользу.

Однообразие домашней жизни нарушалось приездами родителей матери из Екатеринослава. Дед был в то время очень богат и приезжал обыкновенно для участия в торгах на казенные подряды и поставки. Предлагаемые соревнователями цены и прочие условия подавались в запечатанных конвертах, и, насколько я помню, из опасения продешевить деду (руководил выработкой условий отец) ни разу поставки получить не удалось. Дед и бабка столь же были разны, как и родители, но она была недоверчива, неблагожелательна, зятя очень высоко ценила, считая его умнейшим человеком. А дед, высокий, благообразный старик, был импульсивен и щедр, поэтому для внуков его приезд бывал праздником. Но больше разнообразия вносили настоящие праздники, сопровождавшиеся, за исключением Судного дня, появлением на столе разных вкусных вещей. В Судный день Одесса замирала, жизнь останавливалась, весь день евреи и замужние еврейки проводили, постясь, в синагоге.

Нижний этаж нашего дома состоял из двух квартир, занимаемых двумя сестрами отца, вдовами. У старшей, мнившей себя аристократкой, была единственная дочь, так и не дождавшаяся приличествующего ей, по мнению матери, жениха. Судный день мы, дети, и проводили с этой кузиной и жестоко били себя по ритуалу кулаком в грудь, умоляя Бога, в последний момент перед припечатанием судьбы на предстоящий год, о прощении содеянных грехов и

даровании милости. Судному дню предшествовал явный пережиток жертвоприношения: все члены семьи, вертя над головой связанного петуха (женщины курицу), просили Бога обрушить на птицу наказания за прегрешения молящегося, а затем куры раздавались бедным или же раздача заменялась деньгами соответственно их стоимости, а куры служили основанием для необычайно жирного бульона, подаваемого вечером после поста.

Лет с восьми отец стал брать нас с собой в синагогу на наиболее торжественные моменты. Там у него, как у старшины, было почетное место, чем мы очень гордились. Эти торжественные моменты Судного дня оставляли глубокое, гнетущее впечатление: надрывно-напевное причитание мужчин в цилиндрах, падающие с хоров, где помещались женщины, громкие вопли, иногда разрешавшиеся истерикой, сопровождали чудесное пение хора с покрывающим его великолепным, бравурным тенором кантора, и в еврейском синагогальном песнопении мне всегда слышалась мольба покорная, но и мятежная, возбуждающая в душе вопрос: за что и почему?

Самым приятным, чарующим праздником была Пасха, ярко вспоминается радостное, весеннее настроение, вызывавшееся обширными приготовлениями – раскрываются после зимнего герметического закупоривания окна, сверкающие отблесками солнца, и в душные комнаты весело врывается теплый, ласковый бриз, напоенный возбуждающим ароматом. В доме царит невероятная суতোлка – идет генеральная уборка квартиры, чтобы, Боже упаси, не завалюсь где-либо крошки хлеба, который на неделю должен быть заменен опресноками<sup>6</sup>. Во дворе найденные остатки сжигаются, и так забавно шипит в воде раскаленный чугунный шар, которым прокаливают кухонную посуду, чтобы можно было ею пользоваться и в течение Пасхальной недели. Отец везет нас в магазин готового платья, и мы долго осматриваем себя в обновках.

Предпраздничная суতোлка усложняется настоящим потоком бедных евреев, преимущественно женщин, часто с детьми на руках – одни спускаются с лестницы, другие им на смену поднимаются и снова заполняют застекленный коридор. Они приходят за ордерами на получение опресноков и денежной помощью, чтобы иметь возможность справить у себя великий праздник. В качестве старшины главной синагоги отец заведует сбором благотворительных средств, производящимся два раза в год, при наступлении зимы, для снабжения бедноты углем, и перед Пасхой, и – спасибо ему – привлекает нас к участию в распределении и проверке талонов по счету записей и т. д. Сомневаюсь теперь, доверял ли он нашему умению и внимательности, вероятно, сам вновь все проверял, и скорее это было первым уроком общественной деятельности, к которому мы относились с серьезностью, присущей сознанию ответственности.

Наконец все сделано, все успокаиваются, и чем ближе к вечеру, тем все выше приподнимается настроение, тем нетерпеливее ожидание сейдера – этой необычной трапезы за чтением молитвенного рассказа об исходе евреев из Египта. Отец в кресле откинулся на подушки – он должен «возлежать», а я, как младший сын, открываю трапезу, прочитывая по Агаде<sup>7</sup> – забавно иллюстрированной эпизодами по истории исхода – «четыре вопроса», в ответ на которые и начинается чтение, прерываемое странными, напоминающими заклинания обрядностями. Нас больше всего занимает оставленное за столом пустое место, на котором, однако, тоже стоит полный прибор и большой бокал вина, рукой отца тоже участвующий в обрядах. Место это предназначено для пророка Илии, который в определенный момент невидимо войдет в комнату: для этого настезь раскрываются двери, и я вздрагиваю от шелеста пронесшегося сквозняка – разве и вправду пророк посетил нас?

Увы, на моих глазах все эти религиозные традиции стали быстро выветриваться, исчезли с косяков дверей маленькие свитки с молитвой, предохранявшей дом от несчастий, и трогательные, волнующие напоминания о тысячелетнем страдном пути превращались в сухую фор-

---

<sup>6</sup> Опресноки – пресный хлеб, приготовленный без использования закваски.

<sup>7</sup> Агад – часть талмудической литературы.

мальность, которую – волей-неволей – нужно отбыть, как скучную повинность. Раз начавшись, приобщение к русской культуре шло вперед семимильными шагами. Таково было влияние «эпохи великих реформ» Александра II, едва ли не самой светлой, и вместе с тем самой трагической эпохи русской истории. Теперь – и в России, и среди эмиграции – появляется обостренный интерес историков и беллетристов к Ивану Грозному и Петру Великому. Уделяемое им внимание, несомненно, подсказывается – сознательно и бессознательно – стремлением выяснить, что развитие России вообще совершалось резкими толчками, стоившими невероятных жертв. Эпоха шестидесятых годов представляла пробу эволюционного начала, проба оказалась неуверенной, колеблющейся и не выдержала испытания. Но вначале, тотчас после отмены крепостного права в 1861 году, она произвела на общество такое же впечатление, как на нас, детей, раскрытие закупоренных на зиму окон, до самозабвения увлекла всех блеснувшими заманчивыми перспективами. От этого воздействия не могло остаться свободным и русское еврейство, и на себе непосредственно ощутившее ослабление ограничительных законов.

В 1871 году в Одессе разразился погром, но мне было пять лет, и я ужасов его не испытал и не видел. Осталось лишь смутное воспоминание, как няня выходит с иконой за ворота и мы тщетно расспрашиваем, в чем дело, но ощущаем разлитую в воздухе тревогу. Этот погром был, по утверждению Еврейской энциклопедии, явлением случайным, в отличие от позднейших, организованных сверху, и не поколебал еще настроения, а одесская община считалась в еврействе очагом свободомыслия и ереси. В тяготении к русской культуре был, бесспорно, и практический соблазн: ряд крупных реформ – судебная, земская, городская – предъявили небывалый спрос на людей с высшим образованием и поставили их в привилегированное положение. Но, сопоставляя обрывки воспоминаний, я все же думаю, что гораздо важнее и значительнее было моральное влияние этой замечательной эпохи. Меньше всего тогдашние отцы, и тем более матери, способны были усвоить мудрую педагогическую мысль Льва Толстого, что в интересах разумного формирования детской души родители должны себя воспитывать и за собой следить, – не было иначе и в нашей семье. Но ради успешного приобщения к русской культуре сделано было едва ли не единственное исключение, стоившее больших усилий: между собой говоря на жаргоне (мать была еле грамотна), с детьми и при детях родители объяснялись по-русски, при еврейской прислуге няня у нас была православная, благодаря чему с детства русский язык стал родным и диктовки в классе я писал лучше всех.

Обособленность еврейства была основательно подточена, и внутри его произошли большие сдвиги: прежнее стойкое расслоение по признаку религиозному – аристократами считались потомки раввинских семей – уступило место образовательному цензу: университетский диплом устранял существеннейший, особенно при заключении брака, вопрос «откуда?» и открывал все двери. Однако всякое лицо имеет и изнанку: подтачивание обособленности естественно сопровождается разложением сложившегося уклада жизни и упомянутым уже выветриванием традиций. Кстати сказать – новых традиций мое поколение, и не только еврейское, так и не успело, к сожалению, нажить вследствие быстрой капризной смены политической и общественной обстановки. Ассимиляция всегда и неизбежно начинается с усвоения того, что наиболее крикливо, что резче бросается в глаза, с прельщения пеной, поднимающейся и заманчиво волнующейся на поверхности.

Такая тенденция сказалась, конечно, и в обширной гессенской семье. Ее гордостью долго считался один из двоюродных братьев, самый старший (лет на десять старше меня) – прилизанно смазливый, настоящий сноб и прожигатель жизни, непререкаемый законодатель мод и хорошего тона. Перед ним преклонялись все дяди и тетки, но нам, кузенам, он нимало не импонировал. Младший дядя, изобретатель «гессенки», открывший молдавским магнатам новые пути к обогащению (на месте им приходилось продавать хлеб за бесценок), сумел установить с ним не только деловые, но и личные отношения и дом свой устроил совсем на светский лад. Однажды он пригласил к обеду приехавшего из Никополя своего двоюродного брата, о котором

речь будет еще впереди. Неожиданно в тот же день приехал из Кишинева богатейший помещик, предводитель дворянства Катаржи, которого тоже нужно было позвать к обеду. Когда двоюродный брат, по провинциальному обычаю – спозаранку, явился на приглашение, дядя стал его заботливо осматривать, щеткой смахивать пылинки с платья и, придя в отчаяние от добротного, но старомодного сюртука, сказал: «Знаешь ли, Исаак, сегодня должен приехать к обеду Катаржи, и я боюсь, что он тебя будет стеснять. Вот тебе три рубля, ты с большим удовольствием пообедаешь в Лондонской гостинице». Связи с бессарабской знатью помогли ему добиться для сына небывалого исключения: он поступил вольноопределяющимся в кавалерию и, по окончании службы, вышел в офицеры. А дочь, первая любовь моя, редкая классическая красавица, была во втором браке замужем за сановником и от семьи своей отреклась. О ней упоминает государыня в одном из опубликованных писем к государю, ходатайствуя об оказании ей покровительства.

Однако такие уродства, исчерпывающе отмеченные, чтобы предотвратить упрек в нарочитом замалчивании, остались единичными. В общем же крушение традиций и приобщение к русской культуре отразилось среди моего поколения целым рядом обращений в православие из-за браков с христианами и других житейских побуждений. Но этому обращению уже ничего не оставалось прибавить к исповедуемому примату интересов родины, горячей любви к ней и неразрывной спаянности с русской культурой – равно как, с другой стороны, не могло оно ослабить боли и горечи от ударов, сыпавшихся на еврейство. А с переходом в христианство сочеталось среди нас другое массовое явление – тяга вон из Одессы, в центр умственной и политической жизни России.

К концу прошлого века в Петербург переселилась добрая дюжина кузенов и кузин, представлявших все интеллигентные профессии – академическую, публицистическую, медицинскую, инженерную, а также и крупную промышленность, и никто из этих пионеров не затерялся в холодной и строгой столице, а иным довелось даже сыграть некоторую роль в общественной жизни родины.

Расставаясь здесь с детскими воспоминаниями, я с пронзительной ясностью вижу перед собой единственную семейную фотографию – сниматься тоже относилось к числу «нежностей». В центре группы, в овальной золотой рамке, как живая сидит задыхающаяся от смеха мать, держа на руках недавно родившуюся сестренку нашу, испортившую ее нарядное платье как раз в торжественный момент, когда фотограф, подняв палец, произнес магическое: спокойно! – и мать не смеет шелохнуться. Она сидит между бабушкой, в отживающем уже парике, и своей кузиной, женой брата ее, тоже улыбающимися неожиданному происшествию. А по краям стоят два мальчика в бархатных курточках, коротких штанишках, длинных белых чулках, заложив, очевидно по приказу фотографа, ногу на ногу. Я смотрю на того, что стоит слева, доверчиво прижавшись к бабушке, и скажу откровенно: он нравится мне, этот круглолицый человечек, строго исполняющий требование сохранять серьезный вид и устремивший сосредоточенный взгляд вопрошающих глаз в указанную ему точку. Но я не ощущаю никакой связи с ним, не могу ощутить преемства и даже не мысленно, а так-таки вслух спрашиваю: ты-то мне нравишься, но доволен ли ты мною? Он все сосредоточенно смотрит в одну точку, а мне так хотелось бы внушить, что иначе быть не могло, и, если бы с проделанным уже опытом жизни начать сначала, в той обстановке, в тех условиях, которые только таковыми и могли быть, – получилось бы приблизительно то же самое. И вдруг начинает шалить воображение: а может быть, потому он и смотрит так сосредоточенно в одну точку, что она была пред-указана на всю жизнь.

## Гимназия (1874–1882)

В 1874 году, когда мне исполнилось только что девять лет, я, в виде особого исключения (требовался десятилетний возраст), допущен был к экзамену в первый класс Одесской второй гимназии, одновременно с братом, старшим меня на два года. Экзамен выдержан был удачно, ибо любознательности было много, а решение арифметических задач доставляло даже какое-то эстетическое наслаждение. С радостью и гордостью затянулся я в гимназический однобортный мундир с блестящими пуговицами, с высоким воротником, украшенным серебряным позументом, кепи<sup>8</sup> с лакированным козырьком и оловянным гербом, состоявшим из двух скрещенных дубовых листьев, между которыми помещались буквы «О П Г». Но уже с первых дней знакомства с новой обстановкой и гордость, и радость быстро стали идти на убыль. Не помню, было ли у меня вообще какое-нибудь представление о том, что меня в гимназии ожидает. Вероятно, над этим я и не задумывался. Но, во всяком случае, то, что пришлось увидеть и испытать на своих боках в течение девяти лет, никак не могло соответствовать детским ожиданиям и доверчивым надеждам.

Школа как будто ставила своей единственной целью отнять у воспитанников всякую радость, уничтожить всякие порывы, с корнем вырвать все ростки самобытности, индивидуальной личности, погасить всякий интерес к науке. Твердо и буквально наставники держались принципа, что корень учения должен быть горек, и с безоглядной последовательностью проводили его на практике. А ученики, конечно, никак не соглашались с этим мириться, и отношения между ними и наставниками нельзя иначе представить, как два замкнутых враждующих лагеря, которые с одинаковой ревностью изощрались: одни на чем-нибудь поймать, уличить, сделать неприятность, а дети – обмануть, улизнуть, напакостить. Победы случались на обеих сторонах, но не счесть, сколько мальчиков и юношей было загублено, выброшено за борт просвещения. Примерно из сорока с чем-то учеников первого класса, в который я поступил, только двое (третий – я; перешел потом и окончил другую гимназию) дотянули до аттестата зрелости.

Уже в первом классе половина были второгодники, не выдержавшие экзамена и застрявшие на второй год. Среди них были парни семнадцати–восемнадцати лет, искушенные, не говоря уж о курении, в разных соблазнах жизни и усиленно просвещавшие малышей. Эти великовозрастные (если не ошибаюсь, в год моего поступления установлен был предельный возраст, и в следующих классах я уже их не помню) считали себя аристократией класса, и даже некоторые учителя их побаивались.

Внутренней вражды в ученическом лагере не было, связующим цементом была ненависть к общему врагу, и в помощи против врага никогда отказа не было. А о доносах, конечно, и речи не могло быть. Принцип «товарищества» над всем неограниченно доминировал и приобретал уродливые формы, заставляя, по крайности – пассивно, принимать участие в таких деяниях, которые претили разуму и чувству. Но близости, приятельства у меня ни с кем не было в этой гимназии, не помню, чтобы вне ее с кем-то из товарищей я встречался.

В школе мы проводили от 8 с половиной утра до 2 часов: на первом плане стоял латинский язык, которому отведено было 8 часов в неделю, русскому – 6 часов, 4 посвящались арифметике, 2 – чистописанию, 2 – географии и 2 – Закону Божию (евреи были в эти часы свободны). После первых трех уроков была большая перемена в полчаса, раз в неделю занятая гимнастикой (вернее, шагистикой), а в прочие дни предоставлявшая свободу действий. Переменами пользовались, чтобы сбегать за ворота в съестную лавочку Менделя, жирного еврея с

---

<sup>8</sup> Кепи – форменная гимназическая фуражка.

сине-черной курчавой бородой, охотно отпускавшего и в долг свои бутерброды с окаменевшей паюсной икрой, обильно политой для смягчения уксусом. Но важнее было после бутербродов – глубоко до головокружения затянуться папиросой. Здесь можно было предаваться этому удовольствию безмятежно – в противоположность весьма примитивной уборной («нужник»), куда то и дело заглядывал огромный, налитой помощник классного наставника Карл Иванович Фохт и, раздосадованный, что благодаря хорошей организации предупреждения ему не удавалось курильщиков накрыть с поличным, заставлял учеников дышать себе в лицо и больно ущемлял волосы, чтобы преодолеть сопротивление.

Главный предмет – латинскую грамоту – преподавал в первых трех классах сам директор Аким Константинович Циммерман, приземистый человек лет шестидесяти, с большим отвислым животом и отвислой губой. Не смел бы я утверждать, что он владел членораздельной речью: мы слышали только отрывистые восклицания, прерываемые громким выдыханием: незавидно, вон, в карцер и т. п. Учеников он не называл по фамилии, каждый имел свое прозвище: тигр, собака, дубина, остолоп, книжица... и т. д. К неуспевающим он вообще обращался только коллективно: «Гуща, вали!» Перед его уроком в класс входил другой помощник классного наставника Сила (больше мне не приходилось слышать такое имя) Иванович Добровольский, тонкий, злобный, с редкой русой бороденкой, олицетворенный Молчалин, и производил переключку. С небольшим опозданием являлся директор, всегда в пальто, накинутом на плечи. Сила Иванович подобострастно снимал с начальственных плеч пальто, а затем еле слышным ровным голосом докладывал, все ли ученики на месте и не было ли каких-либо происшествий. Если все было благополучно, директор шумно отдувался и садился на кафедру, а Сила Иванович, пятясь, удалялся. Пытливым оком Циммерман обозревал класс, стараясь по выражению лиц узнать, кто не приготовил урока, который обычно состоял в том, чтобы наизусть затвердить расположенные белыми стихами существительные, глаголы, представляющие то или иное отклонение от общего правила и т. д. Бессмысленная зубрежка словно нарочно была придумана, чтобы затруднить усвоение латинской грамоты и поселить непобедимое отвращение к ней.

Если наблюдательность директора обманулась, и вызванный отвечал удовлетворительно, он отпускался на место с миром: «Незавидно! Садись!» Но если жертва вызвана была удачно, восклицания становились все крикливее: «Не знаешь, осел, лентяй, звать, в карцер, вон!» Рокочное слово «звать» обозначало вызвать отца жертвы для назидания, и это, конечно, было для ученика максимально неприятным. Когда раздавалось восклицание: «звать!», один из учеников, на то уполномоченный, отмечал фамилию жертвы в своей записной книжке (отсюда и прозвище «книжица»), чтобы после урока передать приказ Силе Ивановичу. Если же негодование переливалось через край и выражалось формулой: «сильно звать!», то нужно было немедленно призвать в класс Силу Ивановича, которому директор передавал приказание непосредственно.

Иногда, при более благодушном настроении, директор спрашивал плохо затвердившего урок, есть ли у него репетитор, и, если таковым оказывался ученик старших классов, репетитора тут же «звали» в класс. Он появлялся, и старик весьма вежливо, обращаясь на «вы», указывал ему на плохую подготовку и необходимость подтянуть лентяя. Репетитор почтительно обещал приложить свои старания. Однажды случилось, что явившийся репетитор сам не по форме был одет, и, окончив вежливый разговор, директор сразу резко переменял тон: «Ну, ты, репетитор, а теперь ты-ка нам скажи, почему ты без галстука? Звать и в карцер!» Тут как тут Сила Иванович, и злополучный репетитор отправляется в темницу.

Бывало, что вызванные отцы и матери десятками собирались в приемной, а вышедший к ним директор терялся и не знал, что сказать, ибо уже успел позабыть, в чем тот или другой провинился, да и вообще фамилии учеников безнадежно путались в голове его с данными прозвищами. В число вызванных случилось попасть и отцу моему. Пыхтя и тщетно силясь вспомнить, что нужно сказать, директор вдруг буркнул: «Сын ваш, да, да, возьмите его, женить

пора». На замечание отца, что сын самый младший в классе, директор, нимало не смущаясь, ответил: «Да, да, малец славный, подтянуть нужно».

Четыре раза в году давалось генеральное представление, которое самим директором так и расчленялось на «драму, комедию, водевиль, дивертисмент». Это происходило перед окончанием триместра, когда ученикам выставлялись средние баллы за три месяца. Недели за две, за три до этого директор провозглашал, что начинается «испытание», и приглашал «добровольцев». Выходили, по два, лучшие ученики, наиболее в себе уверенные, и начиналась детальнейшая проверка знаний всего пройденного. Таких находилось не больше пяти-шести: не дай бог добровольцу на чем-нибудь сорваться, ему грозило новое унижительное прозвище и утрата репутации навсегда. Когда с добровольцами было покончено, директор сам вызывал, начиная с лучших, и чем дальше, тем все реже слышалась высшая похвала: «незавидно!», и тем чаще и все крикливее раздавалось: «звать, сильно звать!» В последний день «испытания» директор победоносно озирает класс и зычным протяжным голосом восклицал: «Гуща, вали!»

Выходили человек десять–пятнадцать и тесным кольцом окружали кафедру. Обращаясь к ближайшему, директор задавал вопрос, но, не ожидая ответа, кричал: «Не знаешь, пшел!» А затем к следующему: «Ну, ты! Не знаешь, пшел!» и т. д. В несколько минут испытание гущи было закончено криком: «Всех звать, сильно звать!»

Раз попавши в гущу, выбиться из этой касты было уже невозможно, члены ее были как бы обреченные. За все время ни один ученик не получил отметки «5». Этот высший балл он, очевидно, присваивал мысленно себе самому и действительно знал назубок программу первых трех классов, как нищий знает свой единственный грош.

Один только раз директор сменил образ Юпитера-громовержца на роль Силы Иваныча. В Одессу приехал знаменитый в истории русского просвещения Д. И. Толстой (тогда еще не граф, впоследствии еще более знаменитый министр внутренних дел, ликвидировавший реформы Александра II) и посетил, между прочим, нашу гимназию, в частности урок директора, который трепетал гораздо сильнее, чем ученики, развлекаемые блестящей свитой, сопровождавшей министра. Отвислая губа заметно дрожала. Выслушав стихотворные переложения неправильных глаголов, произнесенные самым маленьким учеником, министр задал коварный вопрос: «А как ты переведешь, друг мой, *ave, ave cum ave?*» Без малейшей запинки малыш ответил: «Здравствуй, дед с птицей!» (Смутно вспоминается, что слабость министра к этому омониму была известна, и для малыша вопрос не был сюрпризом.) Министр потрепал мальчика по щеке: «Очень хорошо, молодец! А красивей сказать – дед с птичкой!» Затем, обратясь к директору, поблагодарил его пожатием руки, которую тот, низко приседая, благоговейно принял, и на лице отразилось блаженство, совершенно преобразившее столь знакомое лицо нашего мучителя. А на другой день, как ни в чем не бывало, снова раздавалось: «Звать, сильно звать, в карцер!»

Другим монстром, но в ином роде был сын директора от первого брака – Михаил Акимович, преподававший русский язык. Тоже порядком уже разжиревший, с всклокоченными волосами и бородой, он на грамматику не обращал никакого внимания, а увлекался «выразительным чтением» басен Крылова и, стараясь читать в лицах, проявлял патологическую импульсивность – неожиданно вскакивал со стула таким резким движением, что стул сваливался с кафедры, ученики шумно сбегались, чтобы водворить его на место, и тут между ними возникала драка.

Вообще на этих уроках роли менялись: ученики превращались в мучителей, а наставник становился мучеником, каждый день изобретался новый способ издевательства над несчастным; однажды ухитрились привязать колокольчик к фалдам его вицмундира. Когда, увлекшись чтением Крылова, Михаил Акимович вскочил и колокольчик задребезжал, он принял этот звонок за окончание урока и направился из класса в учительскую, продолжая звонить. Разыгрался большой скандал, все преподаватели приостановили уроки, чтобы узнать, в чем дело, во всех классах поднялся невероятный шум, а сам Михаил Акимович только тогда ура-

зумел, что является пассивным виновником скандала, когда в учительской Сила Иванович, отведя в уголок, освободил фалды от подвешенного колокольчика. Весь класс, отказавшийся назвать активных участников проделки, оставлен был на несколько часов после уроков, но вскоре Михаилу Акимовичу пришлось уйти, и я не сомневаюсь, что он закончил свою карьеру в доме для душевнобольных.

Мне кажется, впрочем, что не только этот, но и большинство тогдашних преподавателей в той или иной степени страдали душевной неуравновешенностью.

Начиная с пятого класса преподавание латинского языка принадлежало невысокому, худощавому человеку в очках, с широкой бородой и шикарными усами, вытянутыми в стрелку и явно составлявшими гордость обладателя: на уроках он то и дело легким прикосновением пальцев проверял, не сломалась ли стрелка. Как и директор, приходил он в класс в пальто, накинутом на плечи, или, вернее, на одно плечо, на манер римской тоги. Имя у него тоже было необычное – Ермил, говорил он медленно, тягуче, сильно напирая на букву «р», и нес такую галиматью, что невозможно было удержаться от улыбки, а улыбка грозила в лучшем случае переселением на заднюю парту, а то и карцером. В пятом классе занимались переводом Кая Саллюстия Криспа. Два часа под диктовку мы должны были записывать биографию, а когда наконец на третьем уроке приступили к переводу, то сразу же случился скандал. Вызванный ученик подошел к кафедре, но, прежде чем успел раскрыть рот, услышал: «Ну, пожалуйста вон!» – и в полнейшем недоумении вышел. Такая же участь постигла и второго вызванного. Наконец, третьему Ермил, сверкая глазами, грозно заявил: «Разве вы не знаете, что полагается стоять на дистанции двух аршин от кафедры?» Класс прыснул со смеха, двум с первой парты пришлось переселиться вглубь.

Установившись на требуемой дистанции, ученик правильно перевел первую фразу: «Напрасно род человеческий жалуется на слабость свою» – и хотел продолжать читать следующую фразу, но был резко прерван вопросом: «Но позвольте! Что же означает первая фраза?» Спрошенный недоуменно пожал плечами и беспомощно оглянулся на товарищей. Бросив затем общий вопрос, не возьмется ли кто объяснить, и не отпуская стоявшего на дистанции, Ермил торжествуя обвел всех глазами и до конца урока произносил проповедь на тему о бессмертии Бога, не успев кончить и посвятил ей и весь следующий урок, причем вызванный опять должен был стоять час на дистанции. Ход мыслей его был, по-видимому, таков: не вправе человек жаловаться на свою слабость, она дана, чтобы всегда помнить и славить всемогущество Бога...

От директора Ермил отличался тем, что тот был все же простак, и на ум ему, вероятно, не приходило, что он мучает и калечит детей, а этот был глубоко убежден, что мальчики даны ему для того, чтобы производить эксперимент *in anima vili*<sup>9</sup>.

Подражателем директора был учитель географии Иван Иванович Тищенко, который требовал, чтобы, не глядя на карту, ученик перечислял по порядку города, лежащие по Рейну, по Волге и т. д. Другой должен был повторить то же самое вверх по течению, третий – пропуская один город и т. п. Беззастенчивым невежеством славился и учитель истории...

Самое тяжелое впечатление оставляли уроки русского языка, которыми в пятом классе заведовал Геннадий Каликинский, по-видимому, глубоко несчастный человек, искавший утешение в вине. Бывали часы, когда он, объясняя урок, говорил какими-то загадочными, отрывистыми предложениями, на наш взгляд не имевшими никакого отношения к делу, и, прервав объяснения на полуслове, лишь только раздавался звонок, стремительно выбегал из класса, точно звон возвещал какую-то опасность. Я был его любимцем и баловнем, мне все прощалось, сочинения мои читались вслух.

---

<sup>9</sup> На малоценном организме (*лат.*).

Однажды он сказал фразу, значения которой я тогда не оценил, но впоследствии она стала моим писательским лозунгом. Прочтя вслух мое сочинение, он обратился к классу: «Вот как нужно писать. Прямо в *центр*, сжато, без предисловий!»

Случалось, однако, что за сочинение я получал единицу и, задыхаясь от беззвучного хихиканья, Каликинский прочитывал его вслух как образец нелепости и озорства. Но это относится уже ко второй половине пребывания в гимназии, и, прежде чем к ней перейти, я могу отдохнуть душой, ибо досталось мне совершенно неожиданное в еврейском быту противоядие против растлевающей ум и душу гимназической обстановки. Если не ошибаюсь, как раз в год поступления в гимназию дед мой по матери приобрел большое поместье Мало-Софиевку в 5000 десятин земли, а еще через год-другой соседнее имение Корбино, тоже в 5000 десятин. Это огромное богатство явилось источником разорения семьи деда и отца, но по отношению ко мне оно оказалось истинным Божиим благословением. Было оно расположено в Верхне-Днепровском уезде Екатеринославской губернии. В первом был вместительный дом, без всяких затей построенный, а во втором оставались только руины аляповатого дворца с двусветным залом и стенной живописью, большим парком с разбитыми статуями, провалившимися мостиками, заплесневевшими беседками. Оба имения принадлежали дворянским родам, разорившимся после отмены крепостного права, о котором в Корбине можно было еще послушаться ужасов.

Управлял латифундией дядя, не имевший ни малейшего представления о сельском хозяйстве, и к тому же, несмотря на столь грандиозные размеры – засеивались тысячи десятин, овец насчитывалось до 15 000, – не ведший решительно никакой бухгалтерии. А так как доходы от продажи зерна, шерсти и т. д. поступали, в зависимости от места платежа, в разные руки (деда в Екатеринославле, отца в Одессе и дяди при расчете на месте), то никто не имел понятия, дает ли имение доход вообще и какой именно. А между тем весь интерес только тем и исчерпывался, чтобы получить максимальный доход, и притом сейчас, а не завтра, не через год. Думаю, что если бы предложено было сделать какую-нибудь затрату, обещающую в будущем значительное увеличение доходности, то, как бы велика ни была вероятность расчета, предложение было бы отвергнуто, как «журавль в небе»: мало ли, что может завтра случиться, а сегодня нужно извлечь как можно больше, до минимума довести расходы, как бы производительны они ни были. Поэтому ничего не было застраховано, не было ветеринара при огромных отарах овец, большом количестве лошадей и рогатого скота, отличный фруктовый сад не имел садовника, проточный пруд, подковой окружавший сад, превратился в стоячее болото, и одним летом я схватил жестокую лихорадку, от которой долго не мог избавиться. За все годы я ни разу не видел и не слышал о враче, да и фельдшера не было. Лечил крестьян дядя – от «лихоманки» лошадиными порциями хинина, с которым конкурировала касторка. А против порезов, для остановки кровотечения, лучшим средством считалось обволакивание паутиной. И – ничего, заражения крови не случалось. Вообще, культурный уровень хозяйства был абсолютно тот же, что у крестьян прилегающей к «экономии» малороссийской деревни, и стоял под знаком: «Авось да небось».

Мало-Софиевка находилась в 75 верстах от Екатеринослава и от Никополя. Помню это совершенно точно и отчетливо и все же вынимаю из книжного шкафа географический атлас, якобы для того, чтобы проверить память свою, а по правде сказать, только для того, чтобы дать схлынуть пленительно волнуемому приливу воспоминаний о поездках в деревню. Как мучительны были последние дни перед роспуском на летние вакации!

Одесса и сама была в это время года очаровательна. Комнаты напоены сладким, одуряющим ароматом белой акации, простиравшей свои ветки в открытые окна; купание на Ланжероне: неподвижно распластавшись на спине, под жгучим солнцем и совершенно забыв, что существует еще что-нибудь, кроме развернувшегося над тобой синего-синего неба... А катание на греческих парусных лодках с резкими поворотами, когда один борт скользит ровень

с поверхностью, вот-вот зачерпнет воду. Но все соблазны блекли перед напряженным ожиданием утра, когда нас отвезут в гавань, чтобы сесть на пароход «Тотлебен». И мы по-своему тревожились: мало ли, что может еще случиться, слишком заманчива была мысль о поездке, слишком велико ожидавшее нас счастье, чтобы не опасаться какой-нибудь неожиданной помехи. Убийственно медленно тянулись дни, возбуждавшие тревожные ночные сны, и как же мчались мы домой, придерживая карман с полученным из гимназии «отпуском»... Теперь остается собрать вещи в дорогу, но это нас мало интересует. А вот что важно: купить на сделанные сбережения разных фейерверков. 20 июня в деревне большое торжество – день рождения младшего кузена. До него у дяди было пятеро детей, но все умирали вскоре после рождения... Поэтому шестого, Сашу, берегут как зеницу ока, и день рождения, который в нашей семье ничем не отмечался, – большое торжество.

Накануне отъезда нам приказывают рано лечь в постель, потому что вставать нужно в 6 утра, но мы с братом улавливаемся не спать и долго шепотом обсуждаем, какой эффект произведет наш фейерверк, пока не засыпаем мертвым сном, и утром сразу не можем понять, зачем нас расталкивают. Отец везет нас на пристань, и вот он – красавец «Тотлебен», так важно пытящий небольшими клубами дыма и как будто только нас и поджидающий. Погода чудесная, но за волнорезом порядочная зыбь, брата сразу укачивает, а я тем более горжусь, что морская болезнь меня не берет, стою на носу, воображаю себя настоящим морским волком и радуюсь соленым брызгам... Часов в пять дня мы в Херсоне, ах, каком ненавистном Херсоне: здесь приходится, пересев на речной пароход, ждать до полночи, слушая однообразные выкрики грузчиков: вира-майна! Но под эти мерные восклицания и лязг цепей, на которых опускают в трюм грузы, отлично спится в каюте, и когда утром просыпаемся, то уж давно ползем медленно вверх по Днепру.

После долгих остановок на многочисленных пристанях мы покидаем пароход в Никополе. В те времена это было благословенное местечко, с пыльными или непролазно грязными улицами, состоявшими в полном распоряжении свиней с поросятами и всякой домашней птицы. Дома больше похожи на деревенские избы, за исключением двух двухэтажных каменных домов, из коих один принадлежал кузену отца. Это был крупный, жирный, добродушный человек – два сына его впоследствии стали видными промышленниками в Петербурге и назывались в семье «богатые Гессены». Жена его была еще жизнерадостнее моей матери (они были двоюродными сестрами) и радушнойшая хлебосолка. Нас встречали чрезвычайно приветливо, засыпали вопросами, как поживают родители, как мы выдержали экзамен, а нам прежде всего хотелось узнать, присланы ли за нами лошади, и перекинуться хоть несколькими словами с кучером. Но не тут-то было. Надо было садиться за стол, буквально заставленный всякой снедью: рыбный холодец, индейка, гусиные шкварки, кныши, которые тетка пекла с исключительным мастерством, вареники с вишнями, густейшая сметана, не говоря о яйцах, зеленых огурцах, редиске и редьке, и к этому отличный хлебный квас. Всего нужно было отведать. Лишь после ужина удавалось выскочить во двор, насладиться видом знакомых лошадей и коляски, жадно расспросить кучера о наиболее интересующих нас предметах, и тут мы уже ощущали непосредственную близость окружающего нас рая.

Ранним утром, по холодку, переночевавшие в жарких постелях и снабженные провизией примерно на неделю, мы покидали гостеприимный дом и отдавались переполняющему душу восторгу поездки на «долгих», так гениально изображенной в «Детстве» и «Отрочестве»<sup>10</sup>. Мы ехали ровной степью с редкими курганами, неглубокими балками и ставками, мерно бежали лошади среди волнующихся, ароматных, ласково шепчущих нив, и эта ширь, эта бескрайность так дорога была нам, родившимся у моря и сжившимся с ним. Но там бесконечный горизонт как бы вызывал на бой, на соревнование с ветром и бурей. Здесь же он нежно звал и

---

<sup>10</sup> «Детство» и «Отрочество» – автобиографические произведения Л. Н. Толстого.

манил таинственными обещаниями. Лучше всего была ночь, которая сразу падала на землю, и дневная тишина, столь пленительная после городской неумемной сутолоки, переходила в торжественный благостный покой... И я слушал эту многоговорящую тишину, широко раскрыв глаза навстречу бархатной ночи, и верилось, что «звезда с звездой говорит». Не рискну настаивать, что так это именно и было... Быть может, все это задним числом подсказываю теперь тому беззаботному, страстно влюбленному в жизнь мальчику, но определенно знаю, что «звук этой песни в душе молодой остался без слов, но живой», и так на всю жизнь запомнились эти часы и так они и дороги мне, потому что тогда был неповторимый момент беспримерной чистоты и непорочности души.

Однажды – это было, должно быть, в 1889 году – к нам с братом в Одессе неожиданно присоединились три троюродных кузена с теткой. Оставаться такой большой компанией в Никополе было неловко, и я предложил кучеру немедленно закладывать лошадей. Недовольный уже тем, что вместо двух ожидаемых пассажиров явилось шесть – мудрено таки было разместить их в экипаже, – он стал спорить, но вдруг догадался, в чем дело, и сказал: «Понимаю, паныч. Вы тут заночевать не хотите. Гарно! Нам, значит, доехать только до первой корчмы, тамичка и заночуем».

Я похвалил его за догадливость, и, отъехав пятнадцать верст, мы остановились на ночь в корчме, носившей странное название. Нам отвели единственную чистую комнату, в ней стоял диван, на котором улеглась тетка, а нам на земляном полу постлали свежего сена. Но мы и не собирались спать, а занялись репетицией «Женитьбы», которую собирались сюрпризом разыграть в торжественный день 20 июня.

Около сорока лет спустя, застряв в начале 1928 года в Финляндии, в Сортавале, я стал излагать свое прошлое и, остановившись на приведенном эпизоде, никак не мог вспомнить название корчмы. Как раз в этот момент получены были из Швейцарии немецкие газеты... И первое известие, бросившееся в глаза, было, что немецкие войска заняли Чертамлык и подходят к Никополю. Что это? Забавный сон или фантастическая явь? Чертамлык и было название той затерянной в степях корчмы, куда, казалось бы, три года скачи – не доскачешь. И вот теперь тяжелая пята врага ступает по богоспасаемому гоголевскому краю, и грохот колес артиллерии разрушает очарование вековой тишины. И тут впервые я не то что понял, а ощутил, что прошлое ушло безвозвратно.

\* \* \*

Только один раз мы и остановились в Чертамлыке, обычно же на полпути нас ждала подстава, то есть свежая четверка или тройка лошадей (великорусская тройка считалась в Малороссии щегольством, здесь пара лошадей шла в дышле, а третья пристяжной). Наскоро перекусив и напившись чаю, мы снова у экипажа, стараемся личным участием ускорить раздражающе медленную перепряжку лошадей, хохлацкая лень истощает наше терпение, кучер все громче бурчит в ответ на понукания и упрашивания и, сердито кивая на нас, ищет сочувствия у окружающих экипаж собеседников, делающих замечания и дающих советы насчет упряжки. Ссориться с кучером никак нельзя, потому что дорогой придется ему поклониться, чтобы получить в свои руки вожжи, а что может быть приятнее, чем разобрать между правой и левой рукой остро пахнущие вожжины и внимательно следить, чтобы, не дай бог, кнут не затянуло в колесо.

Поздним вечером подъезжаем к парадному крыльцу с большим балконом, украшенным колоннами, выходящим на огромную, обнесенную палисадником поляну, и с трудом различаем по другую ее сторону контуры конюшни и каретного сарая. На крыльце встречают нас хозяева с прислугой, и снова те же расспросы и комплименты, а мы стараемся выведать, каковы виды на урожай, потому что от него целиком зависит капризное настроение дяди. Если урожай предвидится, у нас будут отличные верховые лошади и своя тройка, по-великорусски запрягаемая

в небольшую легкую бричку, будут пикники в Корбино, где у большого холодного пруда похоронены последние владельцы имения «раб и рабыня Божии Мандрыкины», мы будем получать «ответственные» поручения к соседям-помещикам (отношения с ними были чисто деловыми, знакомства домами с окрестными дворянами не было), по вечерам будут танцы и, сверх того, мы будем пользоваться неограниченной свободой действий. Если же предвидится неурожай или неблагополучно с овцами, настроение испорчено, так сказать, в квадрате, ибо дядя угнетен не столько самим фактом неудачи, сколько тем, что она лишает его права веселиться. Дурное настроение обостряет и вспыльчивость, какой мне за всю жизнь больше не приходилось встречать и за которую ему не раз доводилось платить и по суду, и собственными боками. Тяжелое настроение сильнее всего отражалось на безответной, любящей, красивой жене его, закрывавшей глаза на постоянные измены бесшабашного бабника. Когда муж бывал в гневе, она силилась стать совсем незаметной, сойти на нет.

«Ну, довольно балакать, это вам не Одесс (так на жаргоне называлась Одесса), – внезапно прерывал дядя беседу, как только мы кончали еду, – вставать надо рано». – «Пожалуйста, разбуди нас, как только встанешь!» (кроме него, ко всем дядям и теткам и, конечно, к родителям мы обращались на «вы»). А вставал он рано, с петухами, между четырьмя и пятью часами, когда солнце только еще всходило и поляна была вся в росе. Нас он будил часов в шесть, когда возвращался после первого объезда экономии.

Первый визит наш был в конюшни, где старший кучер радостно встречает в ожидании «подарочка» из Одессы. Это был крупный, широкоплечий благообразный крестьянин из прилегающей к экономии деревни с целым выводком красивых дочерей, одна из которых служила горничной, а другую, сверстницу мою, я позже вообразил дамой сердца по всем книжным правилам и вызвал однажды на свидание, но не знал, что сказать, а биение сердца не позволяло поцеловать, и наш роман на том и кончился. «Усе готово, хоть сейчас седлай, – успокаивает нас кучер на своеобразной смеси великорусского и украинского наречий, – лошадки хоть куда, и под верх, и в пристяжку, и коренник гарный для брички. И седла как новые, одно аглицкое, другое казацкое». Но нам нельзя задерживаться, потому что приказано пойти на утопающий в навозе скотный двор, чтобы напиться молока из-под коровы с густой пеной, чуть-чуть пахнущей навозом. Дядя объявляет состязание, кто больше выпьет, и к вечеру оно разрешается расстройством желудка. После молока спешим заглянуть в кузницу и в плотницкую, прежде чем вернуться уже под жгучим солнцем в дом к утреннему чаю с яйцами, огурцами, сметаной и так далее.

За чаем не сидится, волнуется надежда, что дядя отправится обзирать полевые работы и возьмет нас с собой. А он, как нарочно, медлит, но вдруг, подойдя к окну, недовольно спрашивает: «Когда же вы кончите чаевничать, ведь уже лошади поданы». Мы принимаем это подшучивание как признак хорошего настроения, стремглав выскакиваем и видим беговые дрожки, в которые запряжен горячий жеребец, и верховую лошадь для меня (у брата поранена нога от купания на каменистом Ланжероне). Лошадь долго артачится под неумелым седоком, никто нас верховой езде не обучал, но я считаю себя лихим кавалеристом. Объезд продолжается часа два-три и представляет чудесную прогулку, но хозяйственное значение его равно нулю. На пять–десять минут останавливаемся у «косовицы»: десятка три угрюмо сосредоточенных косцов гуськом продвигаются вперед, ритмически, как под команду, одновременно взмахивая косами, и их строго согласованные движения еще резче выделяются на фоне беспорядочно следующей за ними пестрой группы босых женщин, вся одежда которых состоит из рубашки и плахты. Они сгребают сено, и здесь непрерывно звучит смех, крикливые шутки, а под вечер и песни. Дядя приветствует косцов словами: «Бог в помощь!», они останавливаются, передовой выходит из ряда, отвешивает низкий поклон, докладывает, что все обстоит благополучно, и, видя хозяина в хорошем настроении, просит прибавить кусок сала в кашу к обеду, а то и чарку горилки.

Выкурив папиросу, дядя продолжает объезд: вот одна из тысячных отар, с громким лаем овчарки бросаются на нас, подходит пастух в лаптях, тоже с рапортом о благополучии, напоминает, что пора приняться за стрижку, мы едем к другой «косовице», где рабочие, совсем мокрые от пота, уже полдничают галушками, запивая их теплым квасом. На обратном пути задерживаемся на одном из хуторов, у крупного арендатора, высокого русого мужика Остапа, который насковозь видит ничего не понимающего в хозяйстве дядю, почтительной лестью умеет обвить его вокруг пальца и из года в год за его счет богатеет. Он угощает нас отличным хлебным квасом, упрасивает зайти в хату перекусить, но мы уже торопимся к обеду и быстрым аллюром, запыленные, проголодавшиеся, возвращаемся домой. Все домашние поджидают нас на крыльце, мне хочется показать свою удаль ловким прыжком с лошади, но, очутившись на земле, я к ужасу чувствую, что стою беспомощным раскорякой, с трудом передвигаю негнущиеся ноги и, густо краснея, слышу громкий хохот. Конечно, такой конец не трудно было предвидеть и не пускаться сразу в продолжительную прогулку...

К обеду за стол садилось человек пятнадцать–двадцать. Кроме временных гостей, всегда было много бедных родственников. Простой, но более чем сытный и жирный обед съедался с жадностью, и после него в доме водворялось сонное царство часа на два, а молодежь уходила в сад, где, разлегшись под старой грушей, мы читали вслух. Дядя получал «Вестник Европы», «Живописное обозрение» (потом «Ниву») и одесскую газету. Мы привозили с собой Некрасова и усердно скандировали «Русских женщин», «Дедушку», «Убогую и нарядную», «У парадного подъезда», которые тогда декламировались со сцены Андреевым-Бурлаком под бурные аплодисменты публики.

После пробуждения обед обильно запивался квасом, а то подавалось мороженое, и затем помещик снова отправлялся в объезд. Если мы его не сопровождали, то играли в крокет, и страстное состязание – рыцарское отношение к противнику было неведомо, и поражение воспринималось как личная обида – выработывало замечательных мастеров. А вечером – танцы под рояль, за который тетка охотно садилась, угощая новой кадрилию или полькой, ноты коих прилагались к «Живописному обозрению». Когда бывали гости (в округе было еще несколько евреев, мелких помещиков и арендаторов), преимущественно около 20 июня, устраивался примитивнейший любительский спектакль с обильным дивертисментом.

Так протекала наша деревенская жизнь, казавшаяся нам необычайно разнообразной и содержательной. Когда через несколько дней на нас переставали смотреть как на гостей и предоставляли самим себе, добивались права принять участие в работе: чистили на конюшне лошадей и водили их на водопой, в кузнице раздували меха, в плотницкой строгали, тщетно пробовали косить. Но помимо таких более или менее невинных занятий, я вообще не понимаю, как удалось сносить голову на плечах: сколько раз я падал с лошади, сваливался с высокого дерева, каким-то чудом увернулся на скотном дворе от разъярившегося быка и т. д. Однажды и случилось большое несчастье: троюродный брат взобрался на молотилку, барабаном захватило его ногу, он истек кровью. Но и этот тяжкий урок ничему не научил: год спустя мы на пари с дядей взялись заменить рабочих у барабана, которые должны были развязывать подаваемые с возов снопы и бросать в барабан. Проработали мы полчаса под палящим послеобеденным зноем, и два дня пролежал я с повышенной температурой. Об этом, впрочем, можно было только догадываться по самочувствию, потому что термометра не было.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.